

Л. А. Мальцев

**ФОРМУЛА «ЕСЛИ БОГА НЕТ, ВСЕ ПОЗВОЛЕНО»
В ПОЭТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЧЕСЛАВА МИЛОША**

Поступила в редакцию 12.03.2021 г.

Рецензия от 18.03.2021 г.

82

Рассматривается специфика восприятия творчества Достоевского в поэзии и эссеистике Милоша. Анализируются варианты переосмысления Милошем прецедентной формулы «Если Бога нет, все позволено» в стихотворениях «Если нет», «Смысл» и «Oeconomia divina». Делается вывод о том, что рассматриваемые стихотворения образуют «триптих», в котором ведущую роль играет проблема диалектики слова и молчания.

The article considers the specific perception of Dostoevsky's creativity in poetry and essays by Milos. The author studies Milosz's multiple reinterpretations of the precedent formula "If there is no God, everything is allowed" in the poems "If not", "Meaning" and "Oeconomia divina". It is concluded that the poems under study form a "triptych", where the leading role is played by dialectics of word and silence.

Ключевые слова: Милош, Достоевский, «Братья Карамазовы», Библия, Книга Бытия, Апокалипсис

Keywords: Milos, Dostoevsky, "The Brothers Karamazov", the Bible, the Book of Genesis, Apocalypse

Россия и русская культура в творчестве лауреата Нобелевской премии 1980 г. поэта и эссеиста Чеслава Милоша (1911–2004) занимает, безусловно, большое место, но его интерес к русской культуре, по существу, сосредоточен на творчестве Достоевского. Избирательность этого интереса («откровенно говоря, только Достоевский меня интересовал» [10, s. 272])¹ подчеркивается тем обстоятельством, что это внимательное отношение к русскому романисту со стороны поэта, не считавшего роман «своим» жанром, более того, выдвинувшего парадоксальный тезис о том, что родная ему польская литература является не «романоцентричной», а поэтической и драматической², а также эссеистико-мемуарной. В связи с этим Достоевский для Милоша — это писатель, позволяющий выйти за пределы полоноцентрического мировос-

¹ Перевод с польского здесь и далее наш. — Л. М.

² См. высказывание Милоша из вступления к его «Истории польской литературы» для американских студентов: «Поскольку польская литература всегда больше склонялась к поэзии и театру, чем к романному творчеству, она осталась малоизвестной в англоязычных странах» [9, s. 11].



приятия и открыть перед соотечественниками поэта и эссеиста новые широкие горизонты: «Россия создала в XIX веке великий роман. Век XIX был веком романа по всей Европе, но России удалось создать роман великий, чего в Польше не было» [10, s. 272]. Однако среди великих европейских и мировых романистов интерес Милоша вызывает исключительно Достоевский: «Ни Бальзак, ни Диккенс, ни Флобер, ни Стендаль не являются всеобщими известными писателями сейчас, в конце столетия. Он [Достоевский] использовал форму романа так, как это не удалось до него никому...» [10, s. 101]. По утверждению Милоша, автор «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» поставил кардинальные теологические, антропологические, пневматологические проблемы, более соответствующие жанровому канону богословского или философского трактата, чем романа: «Во всемирной литературе нет другого примера столь безграничных амбиций романиста. Он [Достоевский] принял в наследство роман как не слишком прихотливый жанр... и превратил его в инструмент противоборства принципиальных идей, затрагивающих судьбу человека» [10, s. 130].

В романах Достоевского наибольшее значение для Милоша имеет жанровая «эссенция» трактата. Так, о романе «Братья Карамазовы» польский автор пишет, что «это есть, по существу, *трактат*³ о ниспровержении русской интеллигенцией авторитета Бога-Отца, царя-отца и отца семейства» [10, s. 141]. Однако творчество Достоевского Милош воспринимает как поэт, и именно поэтому он скептически дистанцируется от жанровых «амбиций» романа, связанных с романизацией литературы XIX и XX вв. и, соответственно, попыткой превращения романа в «площадку» для обсуждения всех принципиальных вопросов человеческого бытия. Скептицизм Милоша нашел отражение в своеобразной «жалобе» на роман и на трактат (на прозу вообще) в «Поэтическом трактате» (1957): «Но те баталии, где ставка — жизнь, / Ведутся в прозе. Не всегда так было. // И до сих пор не высказана горечь. / Роман, трактат служебен, но не вечен. / Одно хорошее четверостишие. / Томов трудолюбивых тяжелей» [2, с. 19]. Формой ответа на «проклятые вопросы», соответствующей природе поэтического творчества, Милош считает гибридизацию стихов и прозы: «Вечно стремился я к форме более емкой, / Что была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой...» («Ars poetica?») (в обоих случаях — перевод Н. Горбаневской) [2, с. 116].

Демонстрируя приоритет «одной хорошей строфы» над «тяжестью томов», Милош парафразирует прецедентную формулу Достоевского «Если Бога нет, все позволено», взятую польским поэтом в «кольцо» пятистишия «Если нет» («Jeżeli nie ma»): «Jeżeli Boga nie ma, / to nie wszystko człowiekowi wolno. / Jest strożem brata swego / I nie wolno mu brata swego zasmucać, / opowiadając, że Boga nie ma» [11, t. 5, s. 171] («Если Бога нет, / не все человеку позволено. / Он сторож брату своему / и не позволено ему брата своего огорчать, / говоря, что Бога нет»). Это «карамазовское» пятистишие, опубликованное Милошем в сборнике «Второе пространство» («Druga przestrzeń», 2002), интертекстуально

³ Курсив автора цитаты. — Л.М.



соотносимо с высказанным еще в 1950-е гг. парадоксальным тезисом Жака Лакана «Если Бога нет, то вообще ничего не позволено», в связи с которым Славой Жижек в 2012 г. пишет следующее: «Одна словенская газета... сгладила это утверждение Лакана, подав его следующим образом: “Даже если Бога нет, то не все позволено” — а это уже благопристойная вульгарность, превращающая провокационную инверсию... в умеренное заявление» [4]. Цитируемый газетный парафраз высказывания Лакана буквально совпадает с началом милошевского пятистишия, однако совпадение представляется нам простой случайностью. Не считая «умеренность» вульгарной, Милош мотивирует собственную поправку, вносимую в формулу «Если Бога нет, все позволено», с помощью библейской аллюзии истории Каина и Авеля, являющейся «эхом» соответствующих сцен романа «Братья Карамазовы»: в тексте Достоевского «Каинов ответ Богу об убитом брате» [3, т. 14, с. 211] «Разве я сторож брату моему?» (Быт. 4: 9) двукратно отражен в репликах отрицательных героев — соответственно Ивана Карамазова («Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию» [3, т. 14, с. 211]) и Смердякова («Почему бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича: другое дело, как бы я при них сторожем состоял» [3, т. 14, с. 206]). В свою очередь, максима Милоша «Человек есть сторож...» как «отрицание отрицания» есть отклик на толкование соответствующей сцены святителем Иоанном Златоустом: «Если бы у тебя все делалось по порядку и по закону природы, то тебе следовало бы быть стражем братнего счастья...» (Беседа 19) [5]. С тезисом Милоша о том, что человеку не позволены безбожные речи, огорчающие брата, соотносится суждение святителя о необходимости самоограничения Каина в слове: «Так как ты согрешил, то “умолкни”, успокой свои помыслы..., чтобы к прежнему греху не прибавить тебе другого тягчайшего...» (Беседа 18) [5].

Несмотря на внешнее сходство карамазовского пятистишия Милоша с тезисом Лакана, польский поэт, в действительности, опираясь на авторитет Священного Писания, полемизирует с французским философom. Убийство Авеля Каином и последующее осуждение на изгнание вызывает опасение со стороны Каина, что, оставив за собой право на вседозволенность, он, в свою очередь, может стать жертвой произвола со стороны других людей («всякий, кто встретится со мною, убьет меня» (Быт. 4: 14), отвечая на что, Бог кладет всеобщий запрет на произвол («кто убьет Каина, тому отмстится всемеро» (Быт. 5: 15). По словам Иоанна Златоуста, наказание Каина становится своеобразным запретом на вседозволенность: «...продолжением твоей жизни Я... преподам урок последующим родам, и никто не следовал твоему примеру» (Беседа 19) [5]. Таким образом, ссылка на историю Каина в стихотворении Милоша «Если Бога нет...» можно воспринимать как опровержение тезиса Лакана — Жижека «Если Бог есть, все разрешено».

Милошевская интерпретация богоборческой формулы «Карамазовых» находится в пределах западной традиции умеренного толкования Достоевского, выраженной Томасом Манном в статье «Достоевский — но в меру» [1]. В противовес логике карамазовской формулы «Если Бога нет, все позволено» в анализируемом пятистишии польского поэта во-



площадется принцип поиска середины между Авелем и Каином – воздержания от злых мыслей в соответствии с предупреждением Каину перед убийством им младшего брата Авеля: «...а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4: 7).

Структурно изоморфным «карамазовскому» пятистишию Милоша «Если нет» является более раннее стихотворение «Смысл» («Sens») из сборника «Дальние окрестности» («Dalsze okolice», 1991), построенное по принципу диалектической триады: «Когда я умру, увижу изнанку мира» – «А если нет изнанки мира?» – «...останется слово...». Как и в пятистишии «Если нет», синтаксический облик стихотворения «Смысл» формируется посредством оборота «если..., то...». Метафорическо-парафрастический оборот Милоша «podszywka świata» [11, t. 4, s. 285] («изнанка мира») соответствует концепту бессмертия в религиозной философии Достоевского: «...уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжить мировую жизнь» («Братья Карамазовы» [3, т. 14, с. 64–65]); «...идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» («Голословные утверждения» [3, т. 24, с. 49–50]).

При таком композиционно-интертекстуальном «раскладе» смысловой акцент стихотворения «падает» на завершающее пятистишие: «Если бы так и было (то есть если бы не было «изнанки мира» (= идеи бессмертия. – Л.М.)), то, однако, останется / Слово, когда-то пробужденное ненадежными устами, / Которое бежит и бежит, неутомимый посланник, / На межзвездные поля, в коловорот галактик, / И протестует, зовет, кричит» [11, t. 4, s. 285]. Здесь прослеживается переключка с вышеупомянутой статьей «Голословные утверждения» из «Дневника писателя» Достоевского («Но мысль, но произнесенное... слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены...» [3, т. 24, с. 47]). Интертекстуальным аналогом концовки стихотворения «Смысл» может быть также не вошедшая в окончательную редакцию концовка стихотворения Федора Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...» (1865): «И от земли до крайних звезд / Все безответен и поныне / Глас вопиющего в пустыне, / Души отчаянной протест» [7, с. 300].

Стихотворение «Смысл» антиномично по отношению к пятистишию «Если нет», в котором на человека возлагается обязанность воздерживаться от слов протеста во имя душевного спокойствия более миролюбивого и послушного брата. По Милошу как автору стихотворения «Смысл», способность к слову-протесту является неотъемлемым правом человека, более того – оправданием его бытия. Здесь очевидны идейные созвучия Милоша с Шестовым – толкователем творчества Достоевского, оказавшим большое влияние на самого Милоша. В статье «Шестов, или О чистоте отчаяния» (1973) Милош пишет: «Разве не ужасен в чем-то совет, который Спиноза дает философам: “Non ridere, non



lugere, neque detestari, sed intelligere” (не смеяться, не плакать, не возненавидеть, а понимать)? Напротив, говорит Шестов, человек должен был бы кричать, вопить, смеяться, насмехаться, протестовать» [6, с. VI].

В диалогическом поле «карамазовской» максимы-пятистишия Милоша «Если нет» находится и еще более раннее стихотворение «Oeconomia divina», вошедшее в поэтический цикл «От восхода солнца до запада» («Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada», 1973). Здесь Милош создает антиутопический образ современного человечества, основанный на допущении самоотстранения Бога от земной истории и вытекающего из этого права человека на произвол: «Я не знал, что доживу до особенной минуты. / Когда Бог скалится гор и громов, Господь воинств, кириос Саваоф, / Жестоко унизит людей, / Позволит им делать все, чего они ни возжадут, / Оставит за ними право на вывод, не говоря ничего» [11, t. 3, s. 100]. Мотив безмолвия Бога в этом стихотворении соотносим с мотивом молчания Христа в легенде «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы» Достоевского.

Следствием отказа от идеи Бога как «абсолютной точки отсчета» (см. поэму Милоша «Теологический трактат») [11, t. 5, s. 218] становится, по сюжету стихотворения, потеря тварным миром эссенциального «ядра», то есть сценарий, полярный по отношению к пророчеству об апокатастасисе – созидательной программе Откровения Иоанна Богослова⁴: «С деревьев, полевых камней, даже из лимонов на столе / Вытекла материальность, и их привидения / Зияли пустотой, словно дым при вспышке» [11, t. 3, s. 100–101]. Как верно замечает В. Кайтох, «упоминание о “привидениях” вещей, о “дыме при вспышке” позволяет истолковать этот распад наподобие процессу аннигиляции, происходящему во время ядерного взрыва» [8, s. 75]. Образ дематериализации мира в стихотворении «Oeconomia divina» соотносится с катастрофическим диагнозом поэмы «Моральный трактат», в котором говорится о ядерной катастрофе как об одном из возможных эсхатологических сценариев («Эпоха наша – просто смерть, / Масштабная die Likwidation»), но также при этом делается коннотативно-параболический намек на «распад другого ядра» [11, t. 2, s. 90] – человеческого «я».

Согласно стихотворению «Oeconomia divina», помимо катастрофы материального мира, следствием апофеоза вседозволенности, обусловленного молчаливым самоотстранением Бога от дел человечества, становится у Милоша реминисценция библейского образа Вавилона [8, s. 75], соотносимая с рассказом о лондонской всемирной выставке («кристальном дворце») из путевого очерка Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1862) («Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию

⁴ О сложном богословском понятии «апокатастасис» Милош следующим образом пишет в религиозно-философской поэме «От восхода солнца до запада» (1973): «Я принадлежу, однако, к тем, которые верят в апокатастасис. / Слово это обещает возвратное движение, / не то, которое застыло в катастасисе, / Оно появляется в Деяниях Апостолов, 3, 21. / Оно означает: возвращение» [11, t. 3, s. 122].



совершающееся» [3, т. 5, с. 70]). Интертекстуальным эквивалентом образа Вавилона в Откровении Иоанна Богослова и истории неудачного строительства Вавилонской башни в Книге Бытия, являются следующие строки в анализируемом стихотворении Милоша: «У дорог на бетонных столбах, у городов из стекла и чугуна, / У аэропортов, по территории больших, чем племенные государства, / Вдруг не стало основы, и они распались» [11, т. 3, с. 101]. Но, вместо вавилонского мотива «смешения языков» как Божьей кары, в тексте Милоша решающим фактором глобальной катастрофы объявляется смерть слова, однако судьей, произносящим приговор, является не Бог, а, по всей видимости, человечество, хотя в неопределенно-личном предложении «В шуме многих языков была провозглашена смертность речи» [11, т. 3, с. 101] отсутствует точное указание на субъект действия. В этой антиутопической фанасмагории проявляется негативное отношение польского поэта к постулатам постмодернистской философии, следом за ницшевским тезисом о «смерти Бога», провозгласившей «смерть субъекта», «смерть автора» и «смерть человека». В идее теоцентризма и логоцентризма, в острой критике релятивистских морально-этических и гносеологических концепций, Милош является несомненным союзником и попутчиком Достоевского.

Стихотворения Милоша «Если нет», «Смысл» и «Oeconomia divina» можно рассматривать как «триптих», в котором центральной является проблема границы между словом и молчанием. В стихотворении «Если нет» Милош говорит о запрете-ограничении, налагаемом Богом на людей-«каинов» («не позволено ему говорить...»), целью которого является разрыв роковой цепочки между мыслью-преступлением, словом-преступлением и делом-преступлением, хотя трансформация мысли в дело-преступление может иметь взрывоопасный эффект без слова-«посредника». Концепции метафизического стихотворения «Смысл» и эсхатологического стихотворения «Oeconomia divina» диаметрально противоположны. Стихотворение «Смысл» — антропоцентрическое-логоцентрическое, поскольку в нем право человека на самовыражение в слове объявляется безусловным, не зависящим от ответа на вопрос о бытии Бога. И, наоборот, в «Oeconomia divina» дан пессимистическо-фаталистический прогноз (диагноз?) тотального безмолвия человечества, являющегося не результатом христианско-эсхатологического суда, а механическим самоприговором истории.

Список литературы

1. Гильманов В. Х., Копцев И. Д., Мальцев Л. А. Т. Манн и Ф. М. Достоевский: к проблеме эссенциального диалога между Германией и Россией // *Quaestio Rossica*. 2018. Т. 6, №3. С. 817–832.
2. Горбаневская Н. Мой Милош. М., 2012.
3. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1972–1990.
4. Жижек С. «Если Бог есть, то все позволено» // *Ліва* : интернет-журнал. URL: <https://liva.com.ua/zizek-religion.html> (дата обращения: 25.02.2021).
5. *Иоанн Златоуст.* Беседы на Книгу Бытия // *Азбука веры.* Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_01/ (дата обращения: 25.02.2021).



6. Милош Ч. Шестов, или О чистоте отчаяния // Шестов Л. И. Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992. С. I—XVI.
7. Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма : в 6 т. М., 2003. Т. 2.
8. Kajtoch W. "Oeconomia Divina" Czesława Miłosza // Koniec wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne. 1999. №12. S. 73—82.
9. Miłosz Cz. Historia literatury polskiej do 1939. Kraków, 1993.
10. Miłosz Cz. Rosja. Widzenia transoceaniczne : w 2 t. Warszawa, 2010. Т. 1.
11. Miłosz Cz. Wiersze : w 5 t. Kraków, 2002—2009. Т. 1—5.

Об авторе

Леонид Алексеевич Мальцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: lamaltsev23@mail.ru

The author

Prof. Leonid A. Maltsev, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: lamaltsev23@mail.ru